



Художник
Г. Мазурин

ВСЛУХ ПРО СЕБЯ

Попытка автобиографии

К существованию я приступил в 1905 году. Произошло это в слободе Покровской, ныне городе Энгельсе, что против Саратова на Волге, 10 июля по новому стилю. Время было жаркое, да и год, как известно, шел горячий – год первой русской революции, год, называемый «генеральной репетицией».

В тот день на квартире моего будущего отца, общественного врача, собрались на нелегальную сходку представители местных революционно настроенных кругов. Из Саратова приехал агитатор – студент-агроном. А чтобы полицию не тревожило такое необычное скопление на частной квартире, околоточному сообщили, что у нас отмечается годовщина Полтавского боя. Дело в том, что по старому численнику в этот день, 27 июня, полагалось благодарственное молебствие в память победы Петра Первого над шведами под Полтавой. Поэтому, когда к открытым из-за жары окнам гостиной подплывала снаружи распаренная физиономия городского, мама спешила сесть за рояль и наигрывала что-то чрезвычайно воинственное, а студент-агроном мелодекламировал в окно: «Выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен...»

Настороженный городской за окном приостанавливался.

«Движенья быстры. Он прекрасен!» – спешил продолжить студент, и успокоенный городской проходил дальше.

Но к вечеру в гостиной начались распри. Эсдеки поссорились с эсерами. Шум поднялся уже совершенно не конспиративный. Напрасно папа, пытаясь заменить студента, по уши погрязшего в споре, читал в окно: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная по-

жаром...» В смятении он сбился с Полтавской баталии на Бородинское сражение. Мама очень разволновалась. Гости, заметив это, стали поспешно покидать квартиру.

И я родился...

Так передает семейная легенда это для меня немаловажное событие.

Однако впоследствии, когда известное американское издательство «Вайкинг Пресс», выпуская в Нью-Йорке мою книгу, снабдило ее краткой биографической справкой об авторе, обстоятельства моего появления на свет были там изложены так:

«Лео Кассиль родился с шумом революции в ушах... В час его рождения отец будущего писателя, народный врач небольшой деревни на Волге, пытался успокоить толпы восставших, читая из окон своей библиотеки классические стихи...»

Но вернемся к истинному положению.

У Маяковского есть такие известные строки: «Я родился, рос, кормили соской». Не пытаясь проводить какие-либо нескромные параллели, скажу, однако, что строки эти вполне применимы и ко мне. Я тоже рос, и меня также кормили соской. Правда, сперва была мама, потом кормилица, заменявшая маму, а затем соска, изображавшая кормилицу. Должен сконфуженно признаться, что к этому резиновому источнику иллюзий я очень пристрастился и лет до четырех никак не мог отпасть от нее, беря тайком, без спросу, бутылочку с соской у появившегося к тому времени младшего братишки.

Затем соску заменил палец. Так была пройдена вся многоступенчатая система сосания. Но тут отец как-то растолковал мне, что сосать негигиенично, из пальца ничего путного не высосешь. Верность этому гигиеническому принципу я стремился сохранить всю жизнь. Это постепенно рождало неприязнь ко всему растяжимо-утешительному, суррогатному, пустышечному и слю-

нявому, с чем иной раз приходилось встречаться в жизни и в искусстве.

Впоследствии это помогло определить те симпатии, которые привели меня к Маяковскому.

Учился я сперва в старой царской гимназии. Окончить ее не успел. Но прикончить помог. И вместе с моими товарищами, вчерашними гимназистами, стал учиться в советской Единой трудовой школе.

Обуреваемый всех нас захватившей жаждой общественно полезной деятельности, я стал работать в Покровской детской библиотеке-читальне, где ребята местных железнодорожников, рабочих костемольного завода и лесопилок, пристанских лодочников и грузчиков смогли впервые дорваться до книги. Мы напридумали всевозможные кружки – драматический, литературный, стали издавать рукописный журнал. Я был его редактором, художником, и, конечно, мне захотелось выступить и в качестве автора. Будучи не в силах противиться этому честолюбивому стремлению, я поместил на страницах нашего журнала за своей подписью стихи... теперь могу признаться, целиком списанные с настенного календаря, бесплатного приложения к журналу «Пробуждение».

Но о литературной работе в будущем я тогда и не помышлял. Мне нравились совсем иные занятия, меня влекли другие дела и профессии. Сначала я мечтал, как и многие мои пешие сверстники, сделаться извозчиком, так как автомобили и самолеты в то время обретались еще за пределами мечты. Потом я помышлял стать кораблестроителем. Я мастерил модели волжских пароходов. Никаких пособий или хотя бы подходящих строительных материалов у меня в то время не было. В ход шли старые картонки из-под маминых шляп, спицы от зонтов, дощечки от сигарных ящичков, лучинки. Мы с братишкой ходили обляпанные клейстером, прирастая штанами к стульям или превращаясь в сиамских близнецов... Но это не остужало моего конструкторского эн-

тузиазма. И об одном из моих пароходов, типа «Самолет», названном мною «Добрыня Никитич», написали даже в местной газете. После этого я перестал завидовать своему уличному приятелю, который постоянно хвастался у нас во дворе, что о нем уже «пропечатали» в газете. О нем действительно было однажды написано в нашей газете следующее: «Неизвестным воров у купца Ерохина похищены самовар и фуганок». Приятель мой вырезал это место из газеты, показывал всем нам и, подмигивая, сообщал доверительно: «Это про меня...»

Потом я решил стать натуралистом. Стал собирать гербарий. Пока дело касалось лютиков и ромашек, все шло благополучно. Но я попробовал засушить в гербарии небольшую дыню, для чего положил ее под папин матрац. Последствия были одинаково неприятны, как для дыни и матраца, так и для меня... Тогда я стал собирать коллекции жуков и бабочек. Изловив солидное количество бронзовок и жужелиц, я усыпил их эфиром и насадил на булавки. Но эфир, вероятно, был слабым или выдохся. И ночью вся коллекция у меня сбежала... Еще день-другой потом окружающие, ложась спать, вскрикивали испуганно и вытаскивали из-под одеяла нечто жесткокрылое или перепончатокрылое. И увлечение мое угасло.

Рос я медленно. В классе был чуть ли не самым маленьким. Ставили меня в последнюю пару, зато сажали на первую парту. Революция грянула тогда, когда зарубка на дверях столовой, где отмечали мой рост, дошла еле-еле до ста тридцати трех сантиметров от полу. Остальные полметра моей длины я нарастил уже в новую эпоху. Думаю, что как раз эти полметра и были для меня во всех отношениях решающими.

Впрочем, если уточнить этапы роста, надо сказать о следующем происшествии. Незадолго до окончания школы второй ступени я угодил в страшную бурю на Волге. Неистойой силы ураган, вызванный внезапно об-

рушившимся на наш город циклоном, валил заборы, срывал крыши, выбрасывал баржи на берег, опрокидывал пустые товарные вагоны с железнодорожного полотна. На разбушевавшейся Волге перевернулась лодка-дощаник, на которой перевозили коз. Лодочники выбрались на плот, а козы начали захлебываться. Мы с приятелем попробовали на моторной лодке спасти их. Коз мы не спасли, а меня с моим дружкой спасали уже работники пристани. Промокли мы до костей, но тут же были высушены ветром. В результате я поймал жестокую, желтую, тропическую малярию, эпидемию которой занесли войска, вернувшиеся тогда из Средней Азии после подавления басмачей.

Девять горячечных недель я плавал где-то между жизнью и смертью. Я был исколот шприцами, как святой Себастьян – стрелами. И когда наконец я смог опустить на пол с постели свои чудовищно отощавшие, голенастые, как у саранчука, ноги, я был потрясен: конечности мои ушли от меня куда-то далеко вниз, а потолок стал непривычно близок к моей макушке!

Меня всегда чрезвычайно занимал этот феномен – стремительный рост ребят за время болезни... Впоследствии я даже попытался разработать на сей счет некую гипотезу, вложив ее в уста одного из героев повести «Дорогие мои мальчишки», историка и философа Валерки Черепашкина:

«По-моему, это потому так бывает, что, когда человек ходит, он может расти только в одну сторону – вверх, снизу ему пол мешает, а когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны – и макушкой и пятками».

Не берусь здесь доказать правоту этой идеи, но, во всяком случае, когда я первый раз после болезни, страшно вытянувшийся и тонкий, как макаронина, выполз на улицу, те же самые приятели мои, которые обычно дразнили меня «карапузом» или «коротышкой», стали сбегаться ко мне, скрывая за насмешкой удивление и крича: «Дяденька! Достань воробышка!» А более

остроумные подходили и, глядя на меня снизу вверх, осведомлялись: «Ну, как там, наверху, не холодно?»

С тех пор я уже, мне помнится, не рос, но и не укорачивался, как меня ни изводили дразнилками.

Однако, кроме постоянно преследовавших меня с этого времени насмешек над моей длиной и худобой, жизнь отягчали еще следующие обстоятельства. Я принадлежал к числу тех несчастных мальчиков, которых, попеременно сбивая с толку, окружающие называют «разносторонне одаренными». Раздираемый обнаруживающимися во мне, по мнению знакомых, способностями, я долго не знал, чем же мне следует заняться всерьез. Художники находили у меня определенные склонности по их части, и я послушно учился рисованию и малевал, а когда был в последнем классе школы, то даже занимался параллельно в Саратовском художественно-практическом институте. Музыканты же утверждали, что у меня отличный слух и мягкое «туше», и я много лет терзал рояль и корябал слух окружающим, если верить, что таковой у них был. А тут еще приехавший из голодного Петрограда учитель словесности А. Д. Суздаев, образованный и опытный педагог-энтузиаст, прочтя написанные мною по его заданию домашние сочинения, заявил напрямик моим родителям, что, чему бы меня ни учили, все равно я, увы, в будущем стану литератором... Суздаев приучил меня читать серьезные книги о книгах. Я с ним читал Веселовского и Котляревского, пристрастился к Белинскому, Добролюбову, Писареву. Мне было трудно поверить Суздаеву, что мое призвание – литература, но слова его я запомнил, а серьезного чтения уже оставить не мог. Впрочем, не стоит сваливать всю вину за то, что я впоследствии сделался литератором, на одного Суздаева... Боюсь, что это случилось бы рано или поздно и без предсказаний моего доброго, просвещенного и дальновидного учителя. А вот за то, что он, как человек ученый и серьезный, привил мне неприязнь ко всякого рода дилетантству, за это спасибо ему!

В 1923 году, окончив школу, я за хорошую общественную работу в библиотеке-читальне получил от обкома партии командировку в высшее учебное заведение по существовавшей тогда разверстке. Я ехал в Москву, чувствуя, что уже далеко за плечами осталось детство, кончилось отрочество, начинается юность. Прощальные дразнилки провожавших меня друзей уже не задевали моего самолюбия.

Но не успел я сойти с поезда на московскую землю и выйти на площадь Павелецкого вокзала, как какой-то московский школьник, отбежав на всякий случай подалее, крикнул мне: «Длинный! Где проезд Неглинный?..» Это было первое, что я услышал в столице. Я утешил себя тем, что услышанная мною дразнилка – вопрос о какой-то московской улице – должна быть воспринята не иначе, как некое посвящение меня в москвичи.

Сдав вступительные экзамены, я начал учиться на математическом отделении физико-математического факультета Московского государственного университета, избрав по специальности аэродинамический цикл. Скажу сразу, что, несмотря на это мудрое обозначение, настоящий математик из меня не вышел...

Уже к третьему курсу меня неотвратимо потянуло писать. Желанию этому противостоять я не мог.

Писать я учился в письмах домой. Я описывал в них Москву, которую в свободные от занятий часы исходил пешком вдоль и поперек, от центра до пригородов. Я описывал новостройки и шествия, театры и стадионы, магазины и зоопарк, выставки и музеи. Некоторые письма доходили до 28 страниц.

Потом выяснилось, что младший мой братишка Ося и его приятели берут у матери эти письма, перепечатывают их на машинке и помещают отрывки в местной газете, под заголовком: «Письма из Москвы». За это им в редакции что-то платят, они не отказываются, берут гонорар, ходят в кино и едят пирожные за мое здоровье. Тут я стал подумывать, что и сам бы мог

позаботиться о своем здоровье, не препоручая это моим волжским друзьям.

...Но настоящее решение пришло иначе.

Я навсегда запомнил этот неистово морозный день с низко нависшим тяжелым небом, к которому поднимались дымные столбы от костров, зажженных на московских перекрестках. Я был в траурной очереди у Колонного зала и дважды прошел мимо гроба Ильича. На всю жизнь запомнил я этот скорбный день, заиндевившие лица тысяч людей, дымное дыхание молчаливой толпы и потом надрывный плач заводских гудков над городом. Я так замерз, что, когда стоял у Колонного в третий раз, упал, и красноармейцы отогрели меня у костра. Но когда я пришел домой и окоченевшие мои пальцы настолько оттаяли, что могли держать ручку, я сел писать. Я писал всю ночь. Я писал для самого себя. Мне надо было найти слова, чтобы выразить все то, что увидел я в этот день, заглянув в бездонную пропасть народного горя...

Может быть, в эту ночь я впервые по-настоящему захотел стать писателем.

Примерно через год я написал свой первый рассказ. То была пора бурно распространявшихся радиоувлечений. Мы мастерили самодельные приемники и с сердцем, замирающим от восторга перед могуществом техники, слушали в эбонитовых наушниках размеренный диктант ТАСС: «Точчка... По бук-вам: Петр, Анна, Роман, Иван, Жанна... Париж!..» И это казалось нам чудом. Рассказ я тоже посвятил радио. При этом я совершил ту сакраментальную ошибку, без которой не обходится обычно ни один начинающий. «Что же я буду писать про то, о чем все знают! – размышляет начинающий. – Нет! Я напишу про то, чего никто не знает, и я в том числе... Вот это – другое дело!» И мой рассказ был посвящен американской жизни. Жил я в то время на Таганской площади, что, как известно, довольно далеко от Бродвея, английским языком тоже еще не за-

нимался. Но все это меня нимало не смущало. Рассказ свой я назвал «Приемник мистера Кисмиквика». Понравившуюся мне, по созвучию с бессмертным Пиквиком, фамилию моего героя я случайно подслушал у соседки по квартире, которая любила читать вслух то, что ей было задано учительницей английского языка.

Рассказ мой был напечатан 28 июня 1925 года в газете «Новости радио». Торжество мое было несколько омрачено тем, что уже 29-го числа выяснилось: Кисмиквик – это вовсе не фамилия, а, если перевести с английского, значит: поцелуй меня скорее... Вот тебе и Пиквик!..

А дальше дело совсем не пошло. Я написал довольно быстро пять-шесть рассказов и разослал их в пять-шесть редакций, подсчитав, что собрание моих печатных сочинений вскоре, таким образом, увеличится объемом в пять-шесть раз... Но из одних редакций мне мои писания были возвращены с непонятной, но роковой пометкой: Н. П. (что, как оказалось, значило «не подходит»... «не подойдет»), из других ответы вообще не пришли. Я ходил по редакциям и робко приговаривал, что у нас трудно пробиваться молодому дарованию. Редакторы были непоколебимы. И, глядя на меня в упор, заявляли при этом, что дарования они не видят...

Но однажды, после очередного неудачного посещения редакции, я как-то раскрыл томик Чехова, давно уже как будто мною прочитанный... И внезапно такой жгучий стыд тысячами иголок пронзил мне изнутри загоревшиеся щеки!.. Бессовестный! На свете написано такое, а я еще норовил печататься...

Я решительно оставил эти теперь показавшиеся мне наглыми попытки. Я сел читать. Это было нелегкое для меня время. Чтобы не обременять родителей и самому зарабатывать себе на жизнь, я поступил подручным в студенческую артель электромонтеров, работал также художником-плакатистом, рисовал объявления для магазинов: «Получена свежая икра», «Прибыли раки»... В студенческом клубе я был старостой и редактором уни-

верситетской «живой» газеты «Синяя блуза» и сам выступал как исполнитель разных сатирических ролей, главным образом – английского министра Чемберлена, которому от нас крепко доставалось... А все свободное время читал, сидя по ночам над книгами Толстого, Пушкина, Чехова, Лескова, Флобера, которые теперь совершенно заново раскрывались передо мной во всем их пленительном и непостижимом могуществе. Я читал и много писал для себя, «в стол».

И это, по-видимому, не прошло даром. Очерк, написанный «на пробу» в 1927 году по предложению одного из представителей периферийной газеты, не только был признан им подходящим, но даже вызвал у него сомнение – сам ли я его написал? И меня тут же пригласили стать московским корреспондентом газет «Правда Востока» (Ташкент) и «Советская Сибирь» (Новосибирск).

В то же время я задумал написать свою первую книгу о том, как рухнула старая школа, как мы сами выучили все, что нам не хотели объяснить в классе. Во мне еще была свежа обида за детство, втиснутое в графы гимназического штрафного журнала, «кондуита», на злое страницы которого заносились все наши провинности. Так я и решил назвать свою первую книгу – «Кондуит».

С первыми ее страницами я, волнуясь, пришел в маленький Гендриков переулок за Таганкой, туда, куда давно меня влекло восторженное преклонение перед громоподобным талантом жившего там человека. Я взбежал по лестнице, а сердце у меня от волнения скапало вниз по ступенькам. Я позвонил у двери, на которой была прибитая медная дощечка с именем Маяковского. Я позвонил, и мне открыли.

Через эту дверь я и вошел в литературу.

Владимир Владимирович Маяковский с этого дня стал моим учителем, а вскоре я имел уже основание

считать его своим старшим другом. Я вошел в небольшую группу писателей и поэтов, которую возглавлял Маяковский. В журнале Маяковского «Новый Лэф» были напечатаны мои заметки, а затем первые отрывки из «Кондуита». Меня тут же выбрали за них в журнале «На литературном посту», ехидно высмеяли в «Крокодиле»...

– Что, бьют? – спрашивал меня, сочувственно и хмуро усмехаясь, Маяковский. – Пока не поздно, одумайтесь. Будете со мной, бить будут обязательно. Может быть, приискать вам место поуютнее?..

Но мог ли я допустить хотя бы на мгновение постыдную мысль о трусливом бегстве от огромного счастья – быть с Маяковским...

Впрочем, откликнулись не только ругатели. Детский писатель-коммунист, человек замечательной души, редкой для столь молодого человека культуры и высокой отваги, Б. А. Ивантер, тогдашний заведующий редакцией журнала «Пионер», а впоследствии его редактор, прочтя отрывки из «Кондуита» в журнале Маяковского, сразу же прислал мне через писателя-лефовца С. М. Третьякова дружеское письмо, в котором просил зайти в редакцию журнала и предлагал сотрудничать в «Пионере».

– Идите! – убежденно сказал мне Маяковский. – Там очень хорошие люди работают и интересное дело делают. Обязательно идите туда.

И я пошел в «Пионер».

В то время там уже работали М. Пришвин, А. Гайдар, С. Григорьев, А. Кожевников и такие замечательные художники, как покойные Н. Купреянов, В. Фаворский, А. Лаптев и ныне здравствующие А. Каневский, Кукрыниксы. Я в то время был уже сотрудником «Известий», и, признаться, мне в голову даже не приходило писать для детей. Но меня до того весело, оглушительно и приветливо встретили в «Пионере», а сам Ивантер, усадив меня прямо на какие-то акварели, сложенные на стуле, и крича: «Чудак! Вы будете чудно пи-